

Михаил Шишкин

## Из личной переписки и автобиографической прозы

### Excerpts from Private Letters and Autobiographical Prose

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ПИСАТЕЛЕМ СЕРГЕЕМ СОЛОВЬЕВЫМ

*Сергей Соловьев – Михаилу Шишкину  
16 февраля 2014*

Я помню, Миша, как однажды в безвременье между Старым и Новым я приехал к тебе в тихую деревушку, где ты поселился, назвав ее своей «ясной полянкой», и каждый день мы выбирали, куда пойдем: направо – в Швейцарию, или налево – во Францию, потому что деревушка эта находилась ровно на границе, но никаких примет этой границы не было. И вот мы ходили по горам, то разговаривая, то молча, то останавливаясь у неожиданно встречавшихся на пути лам, глядевших на нас, как венеры в мехах. Кстати, знаешь ли ты, что антропологи обнаружили у Милосской неправильный прикус? Вот тебе и «плохая физика, но какая гармония!». А потом возвращались, стряпали, читали (ты уходил на мансарду), а к вечеру садились у камина, открывали бутылку хорошего вина, расставляли шахматы, и разговор шел своею дорогой – мимо шахмат и огня, а порой казалось, и мимо нас – сам себе человек. Вот и сейчас, Миша, давай расставим шахматы и посмотрим, в какое «никуда» он пойдет. А для первого хода – такая картинка.

Смотрел я вчера на Ютубе двухчасовую речь Натальи Исаевой о речевых энергиях в шиваистской картине мира, об отсветах Кьеркегора и Хайдеггера, о театре Васильева. Об окольной, эллипсоидной речи как божественной Вахане, способной приблизить нас к неизменному, настоящему, попросту говоря – к озарению жизнью.

Смотрел, а в глазах всплывала земля Семи сестер (это в Ассаме, юго-восток Индии), куда не очень-то ездят из-за несмолкающих войн между тамошними племенами. И вот в глухую деревушку ря-

дом с одним заповедником у Брахмапутры, где я пару недель жил вылазками в джунгли, приехал передвижной театр – вроде индийского «Глобуса». Место для представления выбрали на краю деревни, у самой границы с джунглями, построили шатер, сцену, зрители шли со своими стульями, или садились просто на траву. Моими соседями в ряду были егеря в камуфляже и с шарфами, повязанными на голове на манер платков, они смотрели, опираясь на свои полутораметровые допотопные ружья времен британской колонизации. Время от времени у них включалась рация и они переговаривались с патрулем, ушедшем в джунгли или с диспетчером (двумя днями ранее я ходил в ночную с таким патрулем: когда наутро мы возвращались, по рации сообщили, что соседний с нами патруль расстрелян браконьерами в упор из автоматов. Кончив, они допилили рог у полуживого носорога и исчезли). Спектакль длился часов 5-6. На местном наречье. Смотрели всей деревней. С едой, детьми, собаками, коровами и пр. А за спиной – но еще далеко – горели джунгли. И огонь стремительно приближался, опережая дым, подымая зарево в полнеба. И этот, погруженный во тьму, зрительский островок находился как раз между двух этих освещенных сцен: актерами перед лицом и горящей природой за спиной. И голоса актеров смешивались с голосами слонов, носорогов, оленей, теснимых огнем к деревне, к людскому театру. А в ладони моей – ладонь женщины, силуэт которой во тьме. И во тьме ее живота – наш ребенок, зачатый в джунглях, в опустевшей пещерке отшельника, отошедшего уже к другой речи. И вот я думаю, эта неясная полянка между мирами – там, в земле Семи Сестер, на чужом наречье, с этой ладонью в руке и заревом за спиной – и есть я, дом, род, родина, здесь и сейчас. Ведь родина – не земля под ногами, не могилы предков, и даже не язык, а блуждающее окно, которое вдруг совпадает с тобой и распаивается внутрь тебя. И произойти это может в любое мгновение и где угодно. И так же безотчетно покинуть – до следующей встречи, непредсказуемой и иной. И этим окном может стать вечер, ладонь, зарево за спиной... Душе ведь закон не писан, и родина ее не здесь. А как ты это чувствуешь? Наверное, по-другому? Ведь при всей нашей чуткости друг другу, есть и естественная разность: здесь, например, как между странничеством и уединенностью.

И еще. Вот Кафка говорит: «Есть цель, и нет никакого пути. Путь это наши сомненья». Как ты думаешь, о какой цели тут речь?

*Михаил Шишкин – Сергею Соловьеву*  
*22 февраля 2014*

Сереза, дорогой, несколько дней ничего не мог ни писать, ни думать. Война. Вот так просто. Ни где-то когда-то, а здесь и сейчас. Чертов интернет открывает заслонку, которая всегда была между чьей-то далекой смертью и тобой. Никакой далекой смерти в мире больше нет. Все в прямом эфире. Убивают в моей комнате. В той самой, в которой мы играли в шахматы.

Вот так просто война. Причем, самая подлая, звериная, утробная, среди своих. Почему так всегда: то, что начинается «За вашу и нашу свободу» превращается снова и снова в кровавое месиво. Но там, где месиво, там нет и не может быть свободы, ни нашей, ни вашей, ничьей.

Твой мейл прилетел в воскресенье, а на следующий день там началось. Никак не мог взяться написать тебе в ответ – как писать какие-то слова, если на твоих глазах убивают? Когда выкладывают рядком трупы, музы молчат в тряпочку. Только сейчас понял, что имеется в виду – молчать в тряпочку. Это вот те женщины, которые стоят над мертвецами, только что еще живыми, плачут в платочки, какими-то тряпицами закрывают рот. И всегда так закрывали.

И поражает скорость озверения. Вот читал бесконечные мемуары о той русской смуте, и не укладывалось в голове, как можно дойти до того, чтобы своим же (с немцами-то братались) вот так кол в задний проход вставлять и фотографироваться при этом. Один раз ту фотку увидел и ношу ее в себе всю жизнь. Там кого-то голого за руку и ногу привязали к перекладине ворот, и он стоял, уже мертвый наверно, опираясь на одну ногу и на палку, продетую сквозь него. И пытаешься себе объяснить – тогда к этому шли с разгоном в четыре года мировой войны. А тут вдруг показывают, как на морозе одни бьют другого – совершенно голого. И без особого разгона. Озверение с низкого старта.

И особая подлость, что все это – трупы, призывы стоять насмерть, горящий город, горящие БТРы, горящие люди – на фоне каких-то медалек, каких-то керлингов, фристайлов, хафпайпов, акселей.

Этим подонкам все-таки удалось сравить два народа. Мне всегда казалось, что мы одно целое. Вот у моей мамы в паспорте стояла национальность «Украинка». Что тут делить? Как делить на своих и чужих? И все-таки даже эта, казалось бы, невозможная подлость им удалась.

А теперь вот смотрел на людей на Майдане и сделалось совершенно очевидно: да, мы разные, два совершенно разных народа. Тот народ не поставит на колени. А нас – только свистни. Как так получилось?

Зависть и стыд. Что еще? Да ничего – зависть, что они могут подняться и выстоять, и стыд за то, что мы ничего этого не можем.

Майдан победил, ну, хотя бы сейчас, потому что там были люди, вооруженные ножками от стола со вбитыми и заточенными гвоздями. Жлобы у власти понимают только такой язык. Вот эта дубина с гвоздями была им понятна. Там, на Майдане победила не «читающая публика», а те, кто могут такую дубину своими руками сделать и способны ею размозжить голову человеку. У нас в России протестует «читающая публика». Мы можем выйти, нацепить белые ленточки и подставить свои затылки под дубинки, но самим убивать мы не готовы. Вот в этом вся разница.

«Демократический» украинский протест, как перчатку, надела рука национального движения и сжалась в такой кулак, что власти обосрались. То, что творится на Украине, как ни крути, это национальное движение, захватившее всех, сверху до низу, поэтому там с одной стороны горящих баррикад весь народ, а с другой – прорусское проворовавшееся начальство со своим и привозным из России спецназом, да привезенные из полурусских областей титушки, то есть, русские парни попроще. А в протестном движении в России виртуальные баррикады, которые никогда не загорятся, возведены между образованной публикой и миллионами наших собственных титушек. В демократической Москве некому строить баррикады, некому делать из ножки стола булаву. Это наши отечественные ти-

тушки могут, а мы – нет. Это они готовы размозжить дубиной наши головы, а мы их – нет.

Мы – не сила. Нам проще поставить голову, чем самим ударить.

В этом, кстати, наше единственное преимущество. Это, пожалуй, единственное, за что не стыдно.

Вот сегодня показывали, как люди собрались у здания суда и из толпы по одному выхватывали людей и арестовывали. А наши девочки в это время по айпаду смотрели про Африку. Там стадо антилоп переплывало реку, а крокодилы их по одной завинчивали под воду. И так тысячи африканских лет.

Сереза, прости, у меня про Кафку что-то сейчас не очень получилось.

Пишу это глубокой ночью. Комп вот-вот разрядится.

Рядом моя любимая. Наш ребенок. Посапывает. Самый чудесный звук на свете.

Счастье.

## DER SCHRIFTSTELLER MUSS

Мне восемнадцать. У меня две мечты: объездить весь мир и стать писателем.

Инициация в мир взрослых – понимание, что ничего не будет, ни мира, ни книг. Никуда не выпустят, ничего не напечатают.

Грязный хвост бесконечной московской зимы. Давно уже март, а все еще хоть доставай чернила и плачь. В черноснежной жиже больше соли чем солнца. Машины и троллейбусы заляпаны по самые крыши.

Сегодня вторник, еду к Шульману, мы занимаемся немецким. От Октябрьской по Ленинскому на 4-м троллейбусе.

Кто мы – мэтр и начинающий писатель? Чуткий учитель и пытливый ученик? Но учитель-то – я, объясняю грамматику, поправляю произношение.

Да и мэтр из Шульмана не очень настоящий. Писатель без книг, без публикаций ни здесь, ни там.

Пишет в стол, потом едет в бассейн «Москва».

Летом у него на даче в Валентиновке я нашел на этажерке залежи старых журналов, стал копаться и обнаружил его рассказы, опубликованные в самых престижных советских «толстяках». Прикинул – Шульману было 25. Блестящее начало карьеры советского писателя. Литературный институт – потом катапульты. Сколько начинающих авторов мечтали о таком дебюте. Стена пробита, город взят. Теперь пиши не хочу, вступай в союз писателей, ездь в дома творчества, подписывай книги на встречах с читателями. Жизнь удалась.

Но состоялись бы тогда наши уроки немецкого, встречи учителя с учеником?

Научить чему-то можно только став собой, просто прожив свою жизнь.

Шульман вошел в литературу под чужим именем. По советской традиции он отказался от еврейской фамилии ради звучащего почти по-русски псевдонима Э. Шухмин. Такими были правила игры. Хочешь печататься в стране дружбы народов – спрячь свое еврейство поглубже. Так поступали многие. Это настоятельно посоветовал молодому Эдуарду Шульману его учитель, один советский писатель, мол, псевдоним поможет публиковаться. Помог.

Потом Шульман совершил, наверно, главный поступок жизни. Он вернул своим текстам настоящее имя и стал писать в стол. Для советского писателя – это то самое «идеальное убийство». Больше Шульман нигде ничего не публиковал.

Он стал писать без оглядки на то, что сегодня позволено, а что нет. Закрыв для себя путь в советскую печать – и освободился. Стал не советским писателем, а просто писателем.

Провозглашенное еврейство имело мало общего с Маккавеями, кошером, «в следующем году в Иерусалиме». Еврейство Шульмана – совершенно нерелигиозное. От поколений предков не осталось ни традиций, ни атрибутов, ни языка. Мне кажется, его еврейское самоощущение – совершенно российское, попытка отстраниться от советской нежизни, найти себя другого, настоящего, живого. Заявление о том, что он Шульман, а не Шухмин – это заявление о выходе из советской литературы и о вступлении в литературу. Это не об иудаизме, это совсем о другом.

Мосты назад, в официальную литературу сожжены давно и бесповоротно. Появление Шульмана в моей жизни окончательно поставило представление об устройстве Вселенной с головы на ноги: настоящий писатель вовсе не тот, у кого выходят книги.

Он дал определение себе – Еврей Иваныч. И так же он назовет потом свою первую, вышедшую уже в новые времена, книгу – «Еврей Иваныч». Мое «Общество имени Карамзина» пригласит Шульмана в Швейцарию, я устрою ему выступления в университетах Цюриха и Базеля. Деньги на первую книгу Шульмана соберу у моих знакомых. Но это все будет через два десятилетия, в непредсказуемом фантастическом будущем. А сейчас троллейбус тормозит, остановка «Универмаг Москва», двери с лязгом распахиваются в март 79-го.

Дом бо корпус 2. Вход со двора. Подъезд какой-то не наш – без запахов мочи и испражнений, даже без духа кошек.

Предполагаю, что квартира в советском престижном гетто досталась Эдуарду Ароновичу Шульману от отца – Аркадия Шульмана, режиссера-документалиста.

В страшные времена Арон стал Аркадием. И сын мог быть Аркадьевичем, но сделал отцу, и всем кругом, и самому себе вызов – стал Ароновичем.

Лифт за железной сеткой с деревянными створками, вальяжный, неспешный. 5-й этаж. Квартира 175. Звоню.

Открывает Ирина Яковлевна. На щеке большая некрасивая родинка. Стрижка, как у восьмиклассницы. Бурый балахон, ее любимая одежда.

Всплеснув крыльями, будто руками:

– Михал Палыч, не пущу вас к этому чудовищу, пока не накормлю!

Идем на кухню. Обязательные гречка и котлеты.

Они поженились совсем молодыми, в студенчестве. Предполагаю, что он «взял» ее писательским талантом, вряд ли Шульман отличался в юности особой мужской красотой. Ее вера в мужа быстро нашла себе подтверждение – обычно заслуженное признание к писателям приходит поздно, если вообще приходит, а тут публикации и ранний успех. Представляю себе, как она радовалась свежей книжке «Знамени» с его первыми рассказами. А потом она полностью и безоговорочно поддержала Шульмана, когда он принял решение уйти, стать добровольным изгоем, писать без постоянной оглядки на то, что разрешено, а что нет.

Она взяла на себя все заботы о быте, доме, заработках, перепечатывала его рукописи. Шульман пишет от руки, и почерк его абсолютно нечитабельный ни для кого, даже, кажется, для него самого.

Чтобы не числиться тунеядцем, Шульман вступил в профком сценаристов для научно-популярного кино – это дало ему спасительную бумажку. Сценарии за него пишет Ирина Яковлевна.

Только благодаря ей он смог написать все свои книги. Без нее не появился бы на свет мой любимый «Полежаев и Бибииков».

Гречка с котлетами отправлена в Лету.

– Ну вот, теперь можете идти, классик ждет.



Мимоходом мелькает в дверях Илья, alias Хрюша, он же Тюттик. Сдобный отрок. Кричит в глубь квартиры, продолжая, вернее, заканчивая разговор с отцом:

– Папа, роман сожгу!

Ему кажется это смешным.

И вот только теперь является Шульман.

На темени растет под тонкой кожей шарик от пинг-понга. Рак?

Фуфайка. Треники.

Перед ковром останавливается, выступает из шлепанцев. Идет дальше по ковру в носках.

Садимся рядом на диване. Наши занятия немецким заключаются в том, что мы читаем рассказы Вольфганга Борхерта.

Сегодня «Der Schriftsteller». Писатель.

Я читаю вслух первую фразу: «Der Schriftsteller muss dem Haus, an dem alle bauen, den Namen geben». Потом Шульман. Я поправляю, он повторяет. Потом переводим, разбираем падежи.

Он и Борхерта читает как свои тексты. Его тон обволакивает, уходит на крутые виражи, пронзает. Голос рвется ввысь, распирает стены, выдавливает куполом потолок.

– Der Schriftsteller muss dem Haus, an dem alle bauen, den Namen geben. Писатель должен дать имя дому, который все строят.

Между двумя авторами всегда можно провести прямую. Одному пять, другому двадцать. Один бежит с мамой пешком по шоссе из Минска под бомбежкой, другой наступает с вермахтом.

И все-таки иногда не очень понимаю, зачем нужны эти уроки немецкого, зачем он зовет меня каждый вторник к себе. А иногда понимаю.

Шульман только кажется крутовым столпником от литературы, а на самом деле ищет палочку-выручалочку. И таких веточек-цитат у него целый ворох. Вот одна. Юный Карамзин приходит к знаменитому немецкому поэту Виланду и спрашивает: «Автору нужны читатели?» – «Нужны, – отвечает Виланд. – Но если бы судьба определила мне жить на пустом острове, я написал бы все то же и с тем же тщанием». – «Как?! На необитаемом острове?» – «Так! – Виланд улыбнулся. – Меня бы слушали музы».

Для этого и нужен «Четверг» – мы все слушаем друг друга на этом бескрайнем острове, как музы Виланда.

Для этого нужны и ему, и мне наши бестолковые уроки немецкого.

Доходим до последней фразы «Dann muss er posaunen, bis die Lungen platzen!» Тогда он должен трубить, покуда у него не лопнут легкие.

– Но почему трубить? – не соглашается со своим же переводом Шульман.

– Писатель с трубой? Писатель должен кричать!

И он кричит:

– Dann muss er posaunen, bis die Lungen platzen!

И еще сильнее:

– Dann muss er posaunen, bis die Lungen platzen!! Тогда он должен кричать, покуда не лопнут легкие!!

Не докричаться.

## К ЖЕНЕ В ЗАГОРЯНКУ

В тот день, когда я узнал о смерти Жени, не мог ночью долго заснуть, ворочался, вспоминал.

Наша 59-я в Староконюшенном.

Поездка после девятого класса в ГДР. Жили в берлинской школе, нам предложили сыграть с местной командой в гандбол, людей не хватало, поставили Женю на ворота, он пропустил все мячи, кроме одного – мяч попал ему в лицо и разбил очки.

Поездка к нему в стройбат.

Посещение в больнице. Он в каком-то страшном халате из «Палаты №6», заколотый, сам не свой, но сразу стал читать новые стихи.

Но сильнее всего запомнилось, как летом после восьмого класса поехал к нему на дачу. С Ярославского вокзала на монинской электричке до Загорянки.

Женя жил со своим отцом вдвоем, его мама попала под машину, когда была им беременна, а потом надолго пропадала в психиатрических лечебницах. Юрий Зеликович – легенда 59-й. Он преподавал рисование, черчение, мировую художественную культуру стольким поколениям, что стал школьным *genius loci*.

Не помню, что делали днем, кажется, на велосипедах на речку, волейбол – Юрий Зеликович был фанатом этой игры. И вообще сухой, спортивный, поджарый, в молодости он занимался бегом и потом всю жизнь выписывал «Советский спорт», как он мне объяснил, чтобы смотреть технические результаты забегов.

Еще помню, что вся дача была окутана запахом белого налива – Юрий Зеликович перед отъездом насовал мне целый рюкзак прозрачных душистых яблок.

А ночью мы не хотели ложиться, и Зелик – вот вспомнил, что это была его прозвище в школе, мне потом было странно, что Вуди Аллен назвал своего героя именем нашего любимого учителя – по-

что что насильно загнал нас в кровати. Спать было совершенно невозможно – из окна лезли запахи ночного сада, перемазанного луной. Полнолуние, черные резкие тени от каждой ветки, и вся бесконечная удивительная жизнь впереди. Как тут заснешь?

Мы дождались, пока Зелик мерно засопел, и вылезли из окна, прыгнули в самую луну. Стояли под звездно-яблочным небом посреди вселенной и читали друг другу стихи, свои и не свои, вперемешку, без разницы. Когда тебе четырнадцать лет, чужих стихов не бывает, все стихи мира – твои.

Юрия Зеликовича давно уже нет, теперь вот и Жени. А я еще тут, пишу эти строчки.

В один странный день я сяду на Ярославском на монинскую электричку и поеду к ним в Загорянку. Ночь снова будет лунная, мы с Женей вылезем через окно в сад, пропитанный запахами белого налива. Будем читать друг другу стихи, свои и не свои, и впереди будет бесконечная удивительная жизнь.